

ТЕАТРЪ И ЖИЗНЬ

Theater und Leben.

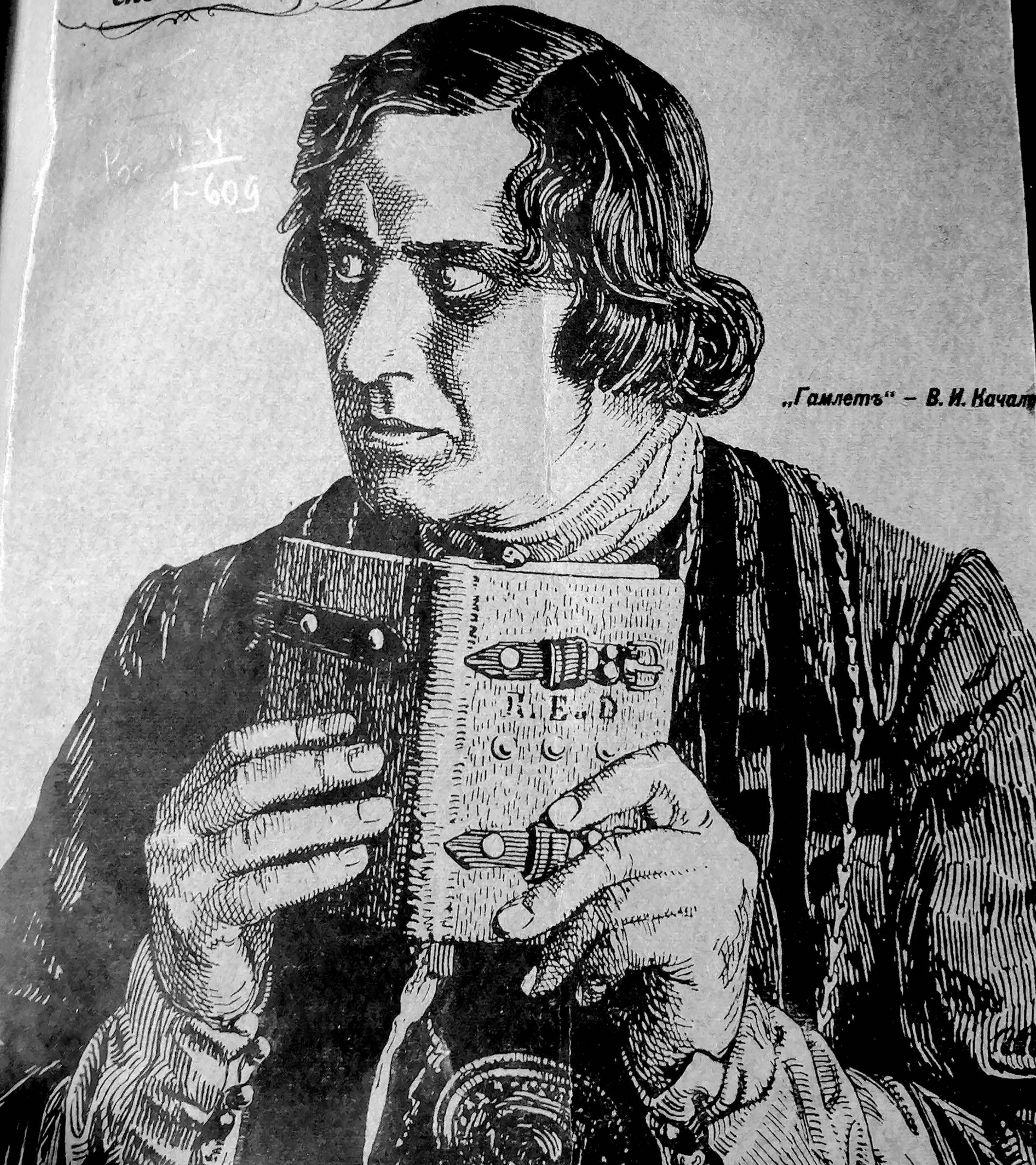
Декабрь 1921
December 1921

Чтво 10
Preis 10

№ 5 и 6

1-609

„Гамлетъ“ – В. И. Качалов



За эмигрантскимъ эшелономъ.

Московскому Художественному Театру.

Эпюсъ Сергея Горнаго.

...И все таки это прежде всего и раньше всего — театр Чехова. Пускай уходят куда-то вдали за «Росмергольмомъ», взмываются за «Дикою Уткой», мечутся «У жизни въ запахъ» или стучатся «У вратъ царства» вмѣстѣ съ Кацено. Даже и здѣсь они все тѣ-же чеховскія души загрезившія — ушедшия къ видѣніямъ.

Въ чемъ ихъ побѣда? Въ чемъ покоряющая тайна, которую не успаешь разгадывать? Въ мистическомъ раствореніи, въ слѣзѣ со стихіей русской интеллигентской души. Ихъ нельзя унасть вычеркнуть, отъ настъ отнять. Это не искусство наше, не лицедѣйство — это наша жизнь, отображенная за ромпой и претворенная въ икону, въ образъ, въ складень. Какъ на миниатюрѣ, средневѣковый монахъ упорной, неторопливой кисточкой выводилъ штрихъ за штрихомъ чей-то ликъ, становившійся вдругъ святою, родимою ладанкой, — такъ и здѣсь штрихъ за штрихомъ слагалась въ миниатюрѣ наша же жизнь, настъ собственный ликъ, очищенный горѣцемъ искусства, преображеній въ таинствѣ творчества и потому ставшій соборнымъ и символическимъ.

Этотъ театръ — волшебное зеркало, въ которомъ видимъ недавнее прошлое въ жуткой обнаженности. Видимъ какъ наливались и зрели подъ неторопливой и мирной личиной — грядущіе, мятежные нынѣ разразившіеся дни. Если просто смотрѣть въ свою душу, остывшую и потерявшуюся на яростныхъ сквознякахъ современности, то не понять — ея смятоты, ея зябкой растерянности, ея испуга предъ нежданнымъ, грозовымъ, стихійнымъ. Но въ преображеніи «художниковъ» не играющихъ нашу жизнь, а живущихъ ею (ибо они — это мы, ставшіе жрецами), — мы понимаемъ эту стихію, эту грозу, разрѣзвшую нашу жизнь синимъ молнійнымъ полыменъ. Да, подъ чеховскимъ сѣрымъ, медлительнымъ покровомъ зрели нынѣшніе дни. Это ясно видно, до жути, до мистической обнаженности.

И, быть можетъ, сами того не вѣдая, стройнымъ хораломъ своимъ, омываютъ они настъ, показываютъ жуткую, страшную правду. Такъ, вѣдь, и въ церкви хоръ, когда поетъ обнавившимися голосами, пѣвучими и молитвенными, не знаетъ, стоя тамъ на клиросѣ, какія души, приникшія къ холоднымъ плитамъ, воскѣшаютъ онъ, обнимаетъ онъ.

Мы видимъ правду.

Мы видимъ жуткую темь, косность, апатію духа въ лицахъ. Слышишь хрипловатый голосъ Ферапонта, съ безразличіемъ и тупостью повторяющаго: «А въ Москвѣ, говорять, канать чрезъ всю Москву протянуть. Да».

— «Что-жъ? все равно».

Да. Все равно. Протянуть такъ протянутъ.

На секунду глянуло странное, жуткое равнодушіе, которое такъ хорошо знакомо намъ. Славянская наивность. Смиренность. Суетность. Исподлобья нахмуренный взглядъ, безразличный, «мужичий». Жизнь надъ мхами и кочерягами, надъ болотами. — Чудь и Меря.

Вотъ теперь кто-то сказалъ ему, Ферапонту, Сысойку, Каратаеву — что чрезъ весь міръ канать протянуть. И повѣрилъ. Какъ не повѣриТЬ?

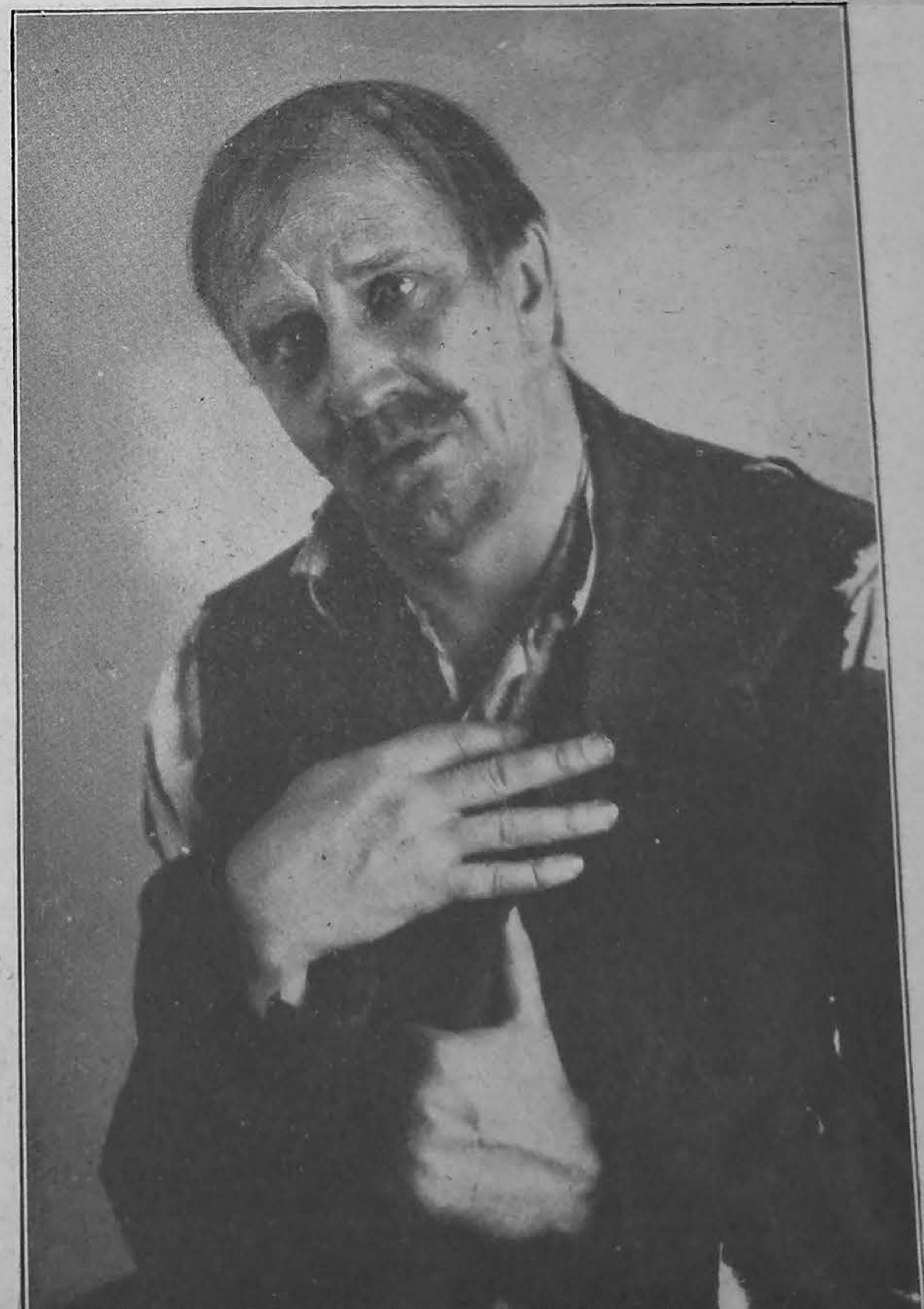
— Канать такъ канать.

Можетъ, онъ тамъ такой-же хмурый, безразличный, непроснущійся, закутанный въ овчины и тулуны — какъ Ферапонтъ. Тому все равно:

— Въ Москвѣ — такъ въ Москвѣ. Канать такъ канать. Да. Такихъ можно въ чемъ угодно уговорить. И въ Коминтернѣ и въ «канать чрезъ всю Москву» — во все повѣрять. Ибо все — все равно. Откуда эта «суета суетъ»? Отъ широкихъ стеней и просторовъ? Отъ хмураго чернолѣсъ Чуди и Мери? Отъ неопрокинутаго еще въ Диѣпѣ «Дажъ-Бога»?

Не нужно читать трактатовъ, Костомарова, Гершензона и Струве, перелистывать модные сборники и искать тамъ ответовъ на тревожные вопросы. Надо смотрѣть въ волшебное зеркало нашей жизни. Надо видѣть Москвичей.

Наша жизнь была неторопливой и грустною. Она была красивой и элегичной. Но въ ней зрели всѣ яды будущаго, слагались всѣ гримасы сегодняшняго. И въ чеховскомъ Прозоровѣ (*«Три сестры»*), этомъ утопающемъ въ линкахъ и мелкихъ будняхъ, «земцѣ»,зывающемъ: «ахъ говорить мнѣ хочется, говорить...», развѣ не прообразъ всѣхъ тѣхъ, кто недавно вышелъ на арену нашей жизни? Безвольныхъ, бездѣйствительныхъ, долго копившихъ по захолустьямъ тоску и жажду работы. Пока эта тоска не стала дряблой, безмускульной, вялой. Они вышли, эти анемичные Прозоровы изъ захолустьевъ они заговорили, они заговорили, они пытались строить...



V. I. Началовъ — Баронъ „На днѣ“.

Мягкимъ светомъ лучится «офицерскій» Вершининскій обликъ Качалова. Какъ понятно. Да, средь буденъ и каштанъ, бригадиахъ сплетень и уѣздной тины, на загнивающихъ корняхъ прошлаго — росли порою тѣ-же тоскующія души, какъ зеленые побѣги. Также искали, также рвались... въ академію. Типичные интеллигентскія души. И глядя на это офицерство, такъ вдругъ остро, до боли понимаешь — еще одну правду, покѣданную художниками, волшебнымъ зеркаломъ нашей жизни. Наше офицерство — вотъ эти бригадные артиллеристы, Тузенбахи и Вершинини, мечтающіе, глядя на улыбающуюся Книпперъ о томъ, что жизнь (освященная любовью), «будетъ чрезъ 200... ну, 300 лѣтъ пре-красной» мы понимаемъ, что и изломанный печоринскій Соловей и обаятельный, родной («въ башлыкѣ, съ кобурою») Качаловъ — плоть отъ плоти интеллигентской. Та-же тоска у нихъ по радости, по правдѣ. «Мы для кого-нибудь живемъ».

Словно «книгу живота» листаешь, голубинную книгу. И что ни страница, все о насть, все про насть-же. Свою жизнь видишь. Это не пьесы и не театръ. Это чудодѣйственное преображеніе, мистерія нашей жизни, повторенная избранными изъ настъ. И не даромъ у нихъ такой жреческій статутъ, такой орденскій строй — у этого замкнутаго круга московковскихъ художниковъ. Иначе нельзя. На нихъ большой обѣтъ, тяжелый искусъ. Это не только радость творчества, это подвижничество: преображать наше недавнее, предгрозовое, муками отмѣченное время. Мы-то ушли уже сами дальше, наша душа уже узнала новое и стучится въ иныя двери. Что-то ищеть, а жрецы должны служить ту-же мистерію. По тому-же ритуалу. Мистерію чудодѣйственнаго объясненія нашего вихреваго «сегодня «нашимъ тихимъ чеховскимъ вчера».

Они наши думы о прошломъ, наша влюбленность въ недавнюю, неторопливую ритмiku, — они наша обнажающая,

зеркальная Правда. И даже, когда Карено ищеть и не едается. Это — бунтъ русскаго духа. И даже когда Тильтиль и Митиль уходятъ за «Синею Птицей». Развѣ всѣ мы не пошли за ней?

Они — это мы сами. И если суетливая газетная хроника, выпячивая и торопясь, разсказываетъ о томъ, что «они» бросаютъ эмиграцію, что «они» выдаютъ кому-то индульгенцію и уѣзжаютъ «туда», за кордонъ — то хочется отмахнуться отъ газетныхъ строкъ, какъ отъ докучной лжи. Быть можетъ и уѣдуть единицы. Но душа, «коллективъ» — наше волшебное зеркало — останется съ нами. Какъ складень. Одна створка на Руси, другая у насть. И, повѣрьте, мы сами молимся о слѣпніи створокъ, о смыканіи расторженіаго, о «возвращеніи». Но о возвращеніи оправданномъ въ душѣ. Не согнувшись и озираючиесь, а съ протянутой свободною рукой къ той, освобожденной «половинѣ». — Жрецы не покидаютъ паства.

Священикъ, въ непогоду, въ осеннюю распутицу на тяжеломъ переходѣ ѿдѣть на двуколкѣ за эшелономъ. Не покидаетъ его.

А мы эмиграція — этотъ разрозненный, растянувшійся эшелонъ шагаемъ по чужбинѣ въ осеннюю распутицу, виновные только въ томъ, что любили Родину.

Насъ не покидаютъ.

Насъ нельзя покинуть.

Пусть мы неоднородны, пусть эшелонъ растянулся, пусть среди настъ и дезертиры, и много приставшихъ на пути, даже недостойныхъ, по священикъ на двуколкѣ долженъ ѿхать въ обозѣ.

Дорога далека. Онъ еще намъ нуженъ.
А впереди все равно одна и та-же цѣль.
— Русь.

Сергѣй Горный.